ОДИН ИЗ ТРЕХ

... Трое их было. Те двое – и он. Им, тем, – везло. С самого начала. Кто скажет почему, но только их – признали, – заказы так и шли со всех сторон, и всегда оплаченные, их осыпали милостями и почестями, папы им улыбались, а как торжественно они выступали, окруженные сворой прихлебателей, почитателей, благоухая иноземными притираниями и мелкими снадобьями, точно непотребные девки! И зеваки стояли по обе стороны дороги... Ему – нет, ему такое не выпадало. Он, подобно ткачу и башмачнику, знал лишь свою нору. И все же не только он, все знали: их трое. В бесчисленном множестве мазил – рисовальщиков, ваятелей, живописцев, призванных услаждать взоры от Умбрии до Перуджии, выделены они трое. Остальные – подмастерья. У каждого, разумеется, свои удачи: у кого конный монумент, у кого портрет погрудный, тондо, у кого что. Но все это – мелкая рыбешка, а они – надежда и опора благородного искусства. Нет, они ничем не были связаны. Куда там! Давно это было, а все на месте обида не отпал струп – и свербит, и потянет нет-нет. Тот, флорентиец, – в шелках и бархате, словно это не его отец считал овец в горах. Как он тихим своим голосом обронил тогда: де, живописец и в своей мастерской облекается в надлежащие одежды, руки отмывает от красок – и гуляет вельможей, а ведь скульпторы – это попросту каменотесы, и пыль от каменных глыб оседает навсегда на их чумазых лицах. Сказал – и как ногой спихнул собратьев на нижнюю ступеньку. Знай свое место, ваятель! Тьфу! Словно господу Богу не видна добродетель, скрыта ли она под тонкой шерстью или под деревенской дерюгой. Ну, ну, он давно уже не кутается в дерюгу, брат прислал ему штуку доброго сукна, да разве в этом дело? То презрение, тот голос тихий, борода шелковистая, умащенная благовониями, – обида, и занозу эту не вынешь, торчит, и что только ее не задевает! Теперь

обидчик, говорят, живет у самого французского короля. Он должен быть очень стар, немного он успеет сделать для французской славы – ведь байки о его медлительности ходили и десятки лет назад! да и по совести сказать, – не всегда ему везло. Разбойники-легионеры расстреляли из арбалетов выставленный им конный монумент. Просто так, для забавы: выставлен глиняный болван на потеху – вряд ли они и знали, кого он изображает. Да и впрямь, что за мысль была – подвергнуть всеобщему обозрению свое детище, когда еще оно не сверкает благородными сполохами металла, а облечено лишь в унылую текучую глину, прах земной? Нет, и щегольство, и ученость – это одно, а вот успех – другое. Тот случай с фреской – хоть его взять. Фреска – о тайном пире спасителя в ночь, последнюю ночь, тот раз, когда сказано было: один из вас предаст меня. Вся Флоренция знала: маэстро изобретает новые краски, более близкие к натуре, сам находит составы, не доверяет ученикам растирать. И что же? Краски пожухли, едва он успел наложить последние мазки, а потом воды разлились – и отсырела стена монастырской трапезной, и зловещие пятна поползли по лицам апостолов. Нынче, говорят, там и вовсе ничего не разобрать под плесенью да проплешинами. Так и фреска оказалась недолговечной. И многое, многое, чего касалась холеная рука живописца /не каменотеса, нет, дочиста отмытая рука с аккуратно обрезанными ногтями/ было попорчено, искажено или вовсе утрачено, а ведь замышлялось на грядущие времена! Ассиметричное лицо с высокими скулами мгновенно прорезает косая усмешка – и исчезает в морщинах. Бренно, все бренно – плоть и дела людские, и как знать свой удел? замахнулся стоять в веках – а глядишь, и сам-то мастер пережил свои творения. Есть ли участь горше этой? На рынке щеголя в открытую звали безбожником, а высокие господа не гнушались сажать за стол, чтили ученость, словно господь не предпочел сирых и убогих – книжникам и фарисеям. Губы старика кривятся снова, морщины ползут вверх ото лба, приподнимают остатки волос. Чернокнижник – это бабья болтовня, но ученым-то он истинно мнил себя, бородач. А то зачем бы ему понадобилось покупать да отыскивать всяких тварей, одна уродливей другой, и тащить в дом? Да еще говорят, будто он конструирует машины для полетов над землей

наподобие птиц или летучих мышей. Ну не дерзость ли это, не надутая ли спесь? А его книги! Книги, где он поучает, как надо писать маслом! Ну не забыл ли этот человек свои пределы? Мир видимый – вот его, маляра область. Юнец поучается своему ремеслу, живя о бок с мастером, растирая ему краски, связывая кисти. Где это видано, чтоб кто познал ремесло, рясь в фолиантах? Спокон веку ученые – одна стать, а мастера – другая. Так говорят. Ну, однако, не все, что досужие языки мелют, – истина. О нем, о ваятеле, тоже говорят всякое. Глупцы, – прозвали изваянного им Лоренцо Задумчивым. Дескать, большому вельможе невместно рассиживаться в кресле без знаков рыцарской доблести да раздумывать, – его дело меч да секира. Да какой же он рыцарь? Могущественный друг его юности, не был он отмечен ни ратной отвагой, ни мужественной красотой. Что ж они мнят – он должен высечь в мраморе всю телесную немощь своего покровителя? Слепцы. Скорбные разумом. Да разве затем создан мрамор, чтоб, кроша его, обозначить согбенную спину, утиный нос, сутулые плечи? И в этом рабском вторении природе – содержится истина, по их мнению? Не будет этого! Останки Лоренцо истлели в земле, и кому теперь надо знать, что он шепелявил, припадал на левую ногу и лицо его искажала судорога? В несовершенной оболочке жил гордый дух. Этот дух, хотелось бы верить, и живет в его мраморе. О, никто как он, ваятель, не знает, до чего низко пали люди. Иной раз подумаешь – навечно угас свет Высокого, если дешевый блеск захватанных металлических кружочков затмил людям все другое. Слепцы. Это про них-бородач написал: не надобно им того сложного мудрого устройства, каким сподобил их господь в неизреченной милости своей, а вполне довольно бы с них изображать собою мешки о двух отверстиях: для приема пищи и для ее извержения. И прав, старый лукавец, хоть, может, и гордыня это – так мыслить о созданиях божиих...

Старик вздыхает тяжко. Вода в медном тазу побурела, но вот на полотенце все равно остаются следы: видно, ему их уже не отмыться никогда от каменной пыли, но вот Паола – Паола станет ворчать. И все равно надо сполоснуть лицо тоже, придется менять воду! Покуда служанка, тяжело ступая и непре-

рывно бранясь под нос, ходит туда-сюда, старик пребывает в непривычном для него оцепенении. Нет, не в силах он простить сопернику шелковистую, расчесанную бороду, и тихий голос, и мягкие манеры важного господина. И откуда что взялось у этого уроженца горной деревни! А он, хоть и каменщик, а графского рода, и не унизил, а возвысил свой род ремеслом - папы сходят во мрак, а он прославит землю своих отцов на долгие времена! Всю Ломбардию можно заселить гигантами, слаженными его, каменотеса, руками. Его сиятельные предки не будут его стыдиться, - там, где они есть, увы, - нос у него вдавленный и плечи косые - да ведь это с тех пор, как он расписывал потолок капеллы, лежа на спине, и краски стекали на его лицо и брызгали на одежду, а он спешил, не давая себе ни отдыха, ни срока. Попробуй-ка отдохнуть, когда известь на стене того и гляди схватится - кто оживит ее тогда для бессмертных картин, что так щедро дарило ему воображение? Ну-ка, медлитель, неженка с белыми руками, - ты-то никогда не дерзал на такое! Они уже столкнулись однажды, и в честном поединке заласканный и знаменитый уступил ему, еще молодому и неизвестному. Бородач выбрал самое простое решение: разместил на своем картоне воинов в пылу битвы. А он схитрил, обошел соперника: у него солдаты выскакивали по зову трубы из речных волн. Мастер сам признал свое поражение. Казалось бы, победителю - торжествовать. Так нет! Полотно сразу ему опротивело, и он не пожелал к нему вернуться. Почему? Долгие годы протекли, покуда ему блеснула догадка. Это благородное смирение соперника помешало ему вволю насладиться победой. О если б побежденный дал волю ярости! С каким бы наслаждением он ответил бы на удары и наносил новые! Он рожден с сердцем воина, а хилая плоть - она всегда ему была лишь помехой. Сдается, за эти неведомо как пробежавшие годы он научился всему, чему только можно научиться, в вечном борении с этой слабой и порочной плотью. Она только и лукавит, чтоб то сомкнуть веки сном, то лениво погреться на солнышке, то заглядеться на лживые уста... Он одолел! Пересилил. Было ради чего. Кое-что все-таки получилось, не зря он, дрожа от напряжения, вновь и вновь подымался, точно

Иаков в битве с ангелом. Христос, сын Божий. Змеятся синеватые губы старика. Что у них за Христы-распятые, эти заморыши! Обычная слепота. Бог бросил сына в мир, чтоб тот на своих плечах вынес все грехи людей, – для этого потребны сильные плечи, крепкая спина. Да и с чего бы распятому быть таким изнеженным? Его названный отец плотничал, и мать не шелковыми пеленами его повивала. В яслях, на сене она его родила в муках, – точно как любая крестьянка в Ломбардии, Сиене, Тоскане или в самом Витербо. Нет уж! Муж он был, муж силы, а то как бы вынес свой крестный путь? А то так и гонят легионы Христов – томных, худосочных, точно монашек после поста!

Ну что ж, пора. Старик кряхтя завернулся в плащ, спустился по выщербленным ступеням, осторожно ставя ноги в мягких широких туфлях. Стояла промозглая римская зима, и больше всего на свете он боялся простуды. Лихорадка – это конец, в его-то годы! И он ничуть не верит здешним лекарям с их припарками и толчеными гадами. В Риме сам воздух источает ядовитые миазмы, все суета это, все тщеславие – селиться здесь по соседству с толстосумами. Он и сейчас по привычке думает о себе как о бедняке и сурово порицает за легкомысленные траты. Швыряют деньгами! Мотают, словно все разом сделались князьями, и путь до Альбано вымощен золотыми флоринами. Как бы не так! Даже когда тебе причитается за работу, попробуйка вытрясти из этих господ свои денежки – легче проделать все заново, чем получить свое кровное. И что только о себе думают! Воображают, если разоделись в шелка, то уж не видно никому, сколько твоя истинная цена.

Криспо век полоскал шкуры в вонючей воде, и руки у него были по локоть бурые, а воняло от него так, что самая дешевая потаскушка воротила нос. Криспо Ушастый – вот кто он был, кожевник Криспо с улицы Жаровен, и такое вот ничтожество отыскало свой портрет на фреске капеллы, где изображен Страшный Суд! Портрет! Неужели он, для кого сам Лоренцо Великолепный был недостаточно великолепен, осквернил бы свою кисть прямым подобием этих обыденных, изъеденных низкими заботами и недостойными побуждениями масок! Вот и все, что они домогаются увидеть в высоком искусстве – себя! Он не поддался

соблазну ни разу. Не писал ни пап, ни их фаворитов и не станет. Христос не был князем церкви, он босиком ходил по Галилее и хлеб преломлял с рыбарями и нищими. Не в высоких палатах звучали его речи, он не бросал людей в застенки и не присуждал их к покаянию. Но лучше бы и не думать о таких вещах, долго ли проговориться, а времена нынче тяжелые! Старик озабоченно вздыхает и обходит лужу. Нет, видно, расписывал он капеллы не для таких, как Криспо. Для них другое. Ярмарочная суетня паяцев, лицедеев, канатных плясунов, фокусников. Все это кривляется, визжит, выкрикивает непристойности – а толпа покатывается со смеху и не замечает, что обезьяньи гримасы, ужимки – это и есть она сама во всем своем блеске. И вот уже гадальщица шепчет на ухо юному щеголю заманчивые предсказания, и сводня алчным взором нацеливается на его толстый кошелек. Иные думают, и скульптор из этой компании – тоже должен удивлять, забавлять, развлекать. Скоморохи, да и те, что величают себя музыкантами, немногим лучше. Но, видно, ничего никому не втолкуешь. И вот опять он споткнулся, а вышел как будто засветло. Все-то он спотыкается! И камня не видать. Ах, не камень это, старость это.

Синьора Виттория тоже состарилась. У старух проваленные рты искажены горечью: на дне стакана, который они допивают, осталась одна горечь, и у синьоры углы рта уже оттянуты книзу. И однако она хороша, когда восседает в кресле, такая прямая, исполненная терпения. Муки терзают ее уже который месяц, но по-прежнему ее осанка – осанка самой Гордости, руки тяжко лежат на подлокотниках, а лицо кротко и достойно, словно она уже готова к встрече с Всевышним.

Какова-то она была смолоду? Уж не узнаешь. Как в юности он чурался их: девки, набеленные, накрашенные, с гладкой кожей, лживыми глазами, и обтекаемые линии их плеч, бедер, слишком мягки, не годны для мрамора. Да и к чему повторять то, что и самому творцу удалось не столь совершенно, сколь совершенен Мужчина, разумное существо, полное тренета страстей? Пишут Марию с площадных девок, да еще не стесняются болтать об этом за стаканом вина! Вот до чего дошло. Но подделка остается подделкой, горсть праха ты, и гроб повапленный –

– вся красота твоя, если нет в ней божественного огня. И тот, медлитель, – тоже... И язык у него не отсох! Сказать такое! Будто бы скульптор – это каменщик, у него пыль въелась в кожу, век он в грязи, точно низкий раб, а вот живописец – тот и у себя в мастерской может носить красивые одежды, и даже принимать дам... Вот где обида, вот она, заноза, а ведь его, медлителя, с его ядовитыми речами и холеными руками, с его учтивыми манерами и ледяным взором, – его уважали буйные кондотьеры и природные герцоги. Все склонялись перед ним, а за что, спрашивается? И почему в этом мире столь ценятся безделки, и так мало замечают истинную добродетель? .. .. ..

ляется душою, а уж лечить душу — не в их власти, малоумных.. Но тут старик все-таки спотыкается, и падает, и с трудом подымается, с проклятиями и стенаниями, к восторгу зевак, покуда из толпы вприпрыжку не выпетает юноша с девически гладким лицом и не кидается на помощь. И спрашивает, не следует ли синьору помочь дойти до дому, и не сильно ли он ушибся, и не повредил ли себе. И вот мальчишки разогнаны, а старик усажен на тумбу, сидит и отдувается, и недоверчиво оглядывает непрошенного знакомца из-под нависших сивых бровей.

— А ведь телесные немощи, мессир, частые спутники мудрости и зрелости, и, стало быть, они скорее почетные отличия на нашем земном пути, нежели только знаки возраста. Прав ли я? И разве не долг беззаботного юношества — служить опорой прозорливой старости?

— Ступай, ступай, я вовсе не немощен! И что это за порядки в вечном городе, что житья не стало от попрошаек и приставал!

— О мессир, мне очень жаль, но вы ошиблись, в моем обращении к вашей милости нет ни капли корысти, ибо я сын состоятельных родителей, и в чем настоятельно нуждаюсь, то это в духовном руководителе и наставнике для развития моих чувств.

— Уж очень ты востер на язык! Помнится мне, в прежнее время молодые не так стремительно неслись вскачь на своих плохо оседланных скакунах, — давали дорогу старшим. А нынче, видно, всякий, у кого есть кошель на поясе, думает, что и в голове у него одно золото...

— О, мессир!... Мне очень жаль, если я показался вам неучтивым, но, право же, это удача от встречи с вами — она кинулась мне в голову...

— Вот тут, надо думать, ты прав... Ну, говори, коли у тебя дело до меня.

— Боюсь быть неучтивым, мессир, но мне приходится отнимать ваше золотое время на свои мелочные нужды... — старик чуть шевельнул подагрической рукой со вздутыми жилами и устремил на голубую шапочку пронзительный взгляд глубоко спрятанных черных глаз. — Я избрал для себя путь ваятеля и ар-

хитектора и не осмеливался лишь обратиться к вам – ибо вас я чту так, как никого другого. Вам нет равного среди смертных! – воскликнул юноша, и перышко на шапочке закачалось.

– А не кажется ли тебе, что ты опоздал? В твои годы я, помнится, и сам мог выучить желающих основам ремесла. Да и к чему, – тут губы старика тронула дрожащая, кривая, исполненная яростного высокомерия улыбка, – к чему такому, как ты, наше занятие? Руки у нас грязные, пыль даже на зубах, – от нее уж не отмоешься!

– Но, мессир... – юноша просительно складывает руки, – уголки рта у него дергаются, и вид он, несмотря на свой щегольский наряд, приобретает самый плачевный, – но, мессир... Я так верил в вашу доброту!

– И напрасно. Лучше б ты верил в свой дар. Он один в силах тебе помочь, а не я, ни кто другой. Ну, ладно. Придешь ко мне... Ну, во вторник, к закату, и поговорим. Не люблю бесед на полдороге.

– Идите, идите, что встали, – юноша ретиво разгоняет зевак, а старик следит за ним холодным зорким взглядом. – А вы, учитель, позволите ли мне предложить вам себя в проводники туда, куда вы направляетесь?

– Нет. – И так это прозвучало, что юноша с легким поклоном скользнул назад, давая дорогу старику, а тот, прихрамывая и слегка косолапя, принялся одолевать рытвины и ухабы и не видел, как еще долго, сторожа, промелькивала над толпой голубая шапочка и перышко над ней. Будущий ученик, точно ангел-хранитель, маячил, оберегая, и когда уже путник завернул за угол, то над ним в густом розовеющем воздухе, в предвечернем мареве струилась горячая тревога.

Минувшее свидание с синьорой Витторией было неполно. Он не смел себе признаться: встреча не дала того, чего он ожидал. Чем холоднее наша кровь, чем медленнее бежит она по жилам, тем, похоже, нетерпеливее жаждем мы дружеского расположения, ищем духовных уз. Никогда он не был женолюбив, а нынче, когда плоть готова стать прахом, когда столь близко завершение, – теперь-то особенно светло и ясно видно. Женщи-

ны! Ложь они суть, прельщенье и коварство, силки и ловушки, дьявольские козни и бесовские ухищрения. И к самим себе они относятся, точно к недописанному холсту, который нуждается в улучшении. И стараются изо всей мочи, но рука неверна, глаз беспомощен — что может выйти из этаких потуг? Гробы повапленные, устрашение юношества, - и не что иное. Нет, муж, мужчина — вот истинное создание божье. А что женщина? Ужимки, обман зрения - фальшивые объятья, судорога соития - и стыд, и мерзость греха. Нет и нет. Мужчина же создан для тяжких трудов, для постоянного кипения мысли, и очень редко - беседы в тесном кругу сведущих и любезных друзей и наслажденье плодами наук и произведениями высокого искусства. Женщине же нет места в этом управляемом разумом мире. Одна Виттория нужна его сердцу. Но она и не женщина уже. И Мария была не женщина. И сибиллы, вечные прорицательницы. Они жили в его воображении, ему вовсе не пришлось таскаться на рынок, чтоб там в шумной балагурящей толпе выискивать натуру. Этот обычай - не по нем. Смерть мокрой тряпицей стирает обличья, и жизнь наскоро рисует новые, и снова, размыв случайные, кое-как соединенные черты, воды вечности уносят мусор. Но рукой артиста не случай водит! Удачливый игрок ловит свой шанс в полете костей. Не то художник! Понуждая себя, не давая ни отдыху, ни сроку, по узкой кромочке лепясь, всего себя наконец превращает он в резец и мастихин, в кисть и отвес. Чтоб сказать теперь: его рукой водил божественный промысел. В ворохе ошибок, в ушах и носах, вкривь и вкось слепленных, в глазах, полных лукавства и уклончивости, отыскивал он потаенные отблески высшего. Люди — это всего лишь люди, однако не будь их, и сам святой Лука остался бы без моделей! И кто бы знал тогда, сколь сладки муки — муки создания, творения, муки художника...

Старик споткнулся. Стоял, потирая ушибленный палец, переводя дыханье. Оно со свистом вылетало из посиневших губ, а он неумело и с раздраженьем пытался привести в порядок свое платье. О докучные заботы! И все равно, к синьоре Виттории он явится, весь пропахший потом, как разносчик, да и плащ забрызган. А ведь это совсем новый плащ из тонкой прокрашен-

ной шерсти, - дорогая вещь, в юные годы он и мечтать о таком не смел. И вот - забрызган!.. А все дело в том, что не по душе ему эта мода - ездить в носилках. Вытрясут из тебя все кишки, да еще плати за это. А носильщиков, этих богохульников, так, должно быть, и лепят из уличной грязи - то-то вонюча она в Риме! Фу-у-ух... Ну, кажется, можно уже идти...

Синьора - свет его глаз. Наверно, надо бы сетовать на судьбу, что утешение и дружбу он нашел лишь на склоне лет. Но он не жалуется. Наоборот. Господь во благости своей послал ему эту женщину. Сколько себя помнит, он едва ли не засыпал с резцом в руках, весь осыпанный душной каменной пылью. Его пальцы так привыкли сжимать инструмент - любовные игры не дались бы им. А синьора окружила его светом неземной доброты, кротости, сияньем неженского ума. Теперь бы он не написал: отрадней спать, отрадней камнем быть... И ему блеснул тонкий луч. А прохожим видно, как темнеет морщинистое лицо, жестче сжимаются губы. Помнит он, что исторгло из его груди эти желчные строки! Унижения! Спесь князей. Нелепые придирки, капризы пап. Пороки в щелку и бархате, и бессловесная, распростертая в пыли добродетель. Грязь, грязь, нога насильника на горле истины - вот, вот что толкнуло его взяться за перо. Разве так высоко помышлял он о себе, чтоб дерзнуть приняться за чужое ремесло! Нет, то были стоны, вопли истязуемого. Ибо, видит бог, каждая мышца его вопияла об отмщении! Со стороны как бы видел он себя - такого, каким был. Но то, другое лицо - оно, с плотоядным ртом, с жирным подбородком, с глазными яблоками, вылезающими из орбит, маска удовлетворенной, сытой злобы. О как много их было за десятилетия - этих тупых, жадных, безликих лиц! В те годы борений его от гнева начинало мутить. Неужто еще не перебродила в нем эта память?

Вот и дверь. Он переводит дух, унимает сердцебиение, ладонью утирает влажное лицо - и решительно стучится, дергая кольцо.

В покоях сумрачно и прохладно. Синьора кивает ему из глубин резного кресла, и собачка заморской породы мостится у ее колен. Такие собачки стоят ныне целое состояние. Что ж!

Он готов простить синьоре даже эту причуду, даже собачку, гадкое животное: лапки сотрясает дрожь, и мордочка - точно у нерожденного младенца. На круглое опахало он даже не обращает внимания, вот до чего облик синьоры вносит мир в его сумятицу его чувств. Синьора не красит своих по-молодому пышных волос, не идет в этом на уступки моде, зато он готов поклясться, что моет она их часто, а это вредно для здоровья, но этого он не скажет: он тоже знает правила обращения с дамами. Промытые с особым венецианским порошком, они поблескивают сквозь прозрачную ткань, наброшенную поверх гребня с и золотых нитей, переплетающих пряди. Синьора сама ведет разговор: спрашивает, не докучают ли ему сырые ветры, которые именно в это время года так несносны в Риме; и не испытывает ли он нужды в тех снадобьях от ломоты, что, помнится, его пользовали раньше, а то как раз сейчас ее цирюльник изготовил ей такие; и нравится ли ему новое распятие, что так расхваливают - вот только забыла она имя, ей называли... Ну, все это - как дождь: раз уж он застал тебя в пути, куда денешься. Он все забывает, что синьора - из верхних. А им так положено: непременно поболтать о том, что не нужно никому и не волнует. Но вот наконец-то она отдала дань дурацким обычаям и сам голос зазвучал иначе. А он и впрямь отдохнул под журчанье пустых речей. Но прав он, что всегда доверял более глазам, чем слуху: мягко и грустно греет его взгляд синьоры, раскрытые ладони повернуты навстречу гостю, от нее исходит тепло, и - нет, не любезность это, а дружба. Он отвечает отрывисто, ворчливо, сам знает за собой неумелость, неуклюжесть. Каменотес он, каменотесом и умрет, что поделать! А Виттория... Ее голос приличен даме, фразы округлы, ни одна складка на ее платье не пошевелится - и все же, все же!.. Ей ли не догадаться, что гонит в ее дом этого строптивца, гордо избегавшего власть имущих, этого колючего, этого богом взысканного старика. Не так-то много в жизни синьоры было искренних чувств и бескорыстных привязанностей. Муж пренебрегал ею; свет был жесток и лицемерен; дети забыли ее. Старость пришла, и плоть ее изнемогает в ожидании покоя, и - вот только когда привелось переведаться с человеком, ко-

тором ничего от нее не надо, который сам одаривает ее сполохами гения, вспышками мудрости. Ничего для себя не ожидая, он приходит – вместе с нею провожать последний свет гаснущего дня.. Никто ее не поймет; она не приглашает художника, если в доме посторонние; одна наслаждается его обществом, его вдруг вырывающимися, точно молния, желчными репликами, беспокойной, до удивления свободной игрой его мысли.

Слуга расставляет еду на столе: рыба под соусом, запеченные моллюски, испанское вино в сосуде узорного стекла. И простые грубые кушанья, специально для гостя: лепешка только что из печи, овечий сыр на капустном листе, жирные маслины, жареная козлятина. Хозяйка почти не ест; жестом отослала слугу, едва он разжег толстые свечи; не ест, но смотрит с материнской печалью, как насыщается старый человек: отдувается, чавкает, шумно отирает сальные пальцы о полу одежды, неловок, обеими руками берет бокал глубокого, до черноты вишневого цвета. Ее муж, даром что принадлежал к старинному и почтенному роду, был невоздержан и в еде, и в питье, и она старалась, чтоб дети не садились к трапезе вместе с отцом. Напрасные заботы! Ваятель равнодушен к яствам, он и ест прямо в мастерской, накинув холст на работу, там, где в воздухе носится густая пыль и пахнет мокрой глиной.

Теперь, когда свечи посылают к высоким сводам желтый жар, видно, что вечер перешел в ночь. Узорчатые решетки на окнах поглотила тьма, и из дворика доносит слабые порывы ветерка. Слуга задергивает тяжелые занавеси и приносит фрукты. Виттория погружает руку в их телесное изобилие, и рука появляется вновь на свет божий, обняв пальцами пышную грушу. С опаской и подавленным отвращением он принимает плод, пересиливает себя, ест. Обычай тешить себя бесполезными сладостями, по его мнению, придуман теми, кто ничего не создает. Долгий день они убивают на сложные ритуалы, а свой пресыщенный желудок вынужденно раздразнить острыми приправами и заполнять пухлыми, водянистыми фруктами. Еда же – для того, чтобы сохранить силу: похлебка, сыр, иногда грубое мясо с углей, вино с водой. Рыба – и та ему внушала брезгливость до недавних пор. Округлости яблок, медовая кожа груш слишком женственны, изысканны: точь-в-точь модницы в глупых одеждах, не защищаю-

щих ни от холода, ни от дождя! То, что задумано господом богом в пищу человека, и растет иначе: то ли дело - упрямые, карабкающиеся, пружинистые стволы слив! Не дары - плоды - трудов! Щедрый, бесхитростный жир лепешки. Мягкость доброго белого сыра.

Он омывает пальцы в глубоком блюде. Синьора поднимается Ее платье шуршит по плитам пола. Они выходят во внутренний двор. Две жаровни ровно дышат по углам, смягчая вечернюю сырость, на скамью брошено покрывало. Они садятся - и молчат. И им хорошо. Для чего нарушать эту позднюю тишину? Все, что могли, они уже сказали друг другу.

Скоро двери дома синьоры закроются для посетителей, и исключения не будет сделано ни для кого. Он знает это. Синьора не допустит людей смотреть на ее залитое ~~ишши~~ страдальческим потом лицо. Считанные дни им остались. Длинный, долгий путь позади, но еще могут они помолчать рядом, беззвучно посылая благословение. Да будет оно с тобою!

Назад его провожает слуга с факелом, и он ступает увереннее, он думает о том, что оставил. Дама в кресле? Нет, никогда. Какой мрамор может поведать о ее бесстрашии и благородстве? О его сожалениях? О том, как быстро, быстро, быстро гаснет свет...

Синьора Виттория - свет его глаз, и этим светом он не поделится ни с кем. Пусть другие малюют портреты, высекают бюсты. Он не может. Это было бы кощунством! Тепло, трепет уходящей жизни - это он призван сохранить для себя одного, это открыто ему, но не всем. Десятки лет он исторгал из своей груди титанов, богов, - воплощение своих мечтаний о высоком предназначении людей. Он бился в пламени невысказанного, несказуемого - так жег его жар стремления во что-бы то ни стало обернуть к себе незрячие глаза толпы, заставить услышать свою Истину. Никогда, ничего не хотел он запереть в себе, спрятать на дне души. А нынче в собственный дом он крадется во тьме и готов прикрыть полой плаща лицо - чтоб не заглянул туда никто слишком зоркий, чтоб не выдать свое смятение. То тепло, и молчание, и шелест шелка по каменным плитам, и профиль, по которому перебегали отсветы огня от жаровни - это не для резца, не для слов, это как

крохотный огонек светильника, что несет, прикрыв ладонями, загородив, служанка в коридоре.

Он сует в руку слуге нещедрую мзду, проходит мимо вздремнувшей среди кастрюль Паолы и остается один. Разумеется вода простыла, ложе застелено кое-как, а он чувствует себя таким усталым, таким слабым! Ему даже не хочется нагибаться, чтоб снять туфли. Сегодня он не стал бы бранить новомодную изнеженность, окажись он внезапно на пуховых подушках и взбитой перине. Кряхтя, примащивается он к холодной стене, натягивает ветхое покрывало, затихает. Не стоит будить Паолу - у него все равно нет сил умываться. Племянника - вот кого бы он посадил сейчас подле кровати в полутьме, пусть бы сидел, покачивая ногой, поигрывая пальцами по одеялу, со своей рассеянной то ли гримасой, то ли усмешкой. С волосами по плечам, в светлых щегольских чулках, пахнущий здоровьем, и потом, и щенячей веселой глупостью. Пусть бы посидел со стариком!.. Бездельник, свистун, пересмешник! Ронял бы кухонные горшки, болтал с приблудным псом на крыльце! Ничего, ни грана из накопленной мудрости не удержат его дырявые руки, его нелюбопытные мышиные глаза. Вот уж для кого не существует ни слава, ни честь, а лишь докучный старик со своими наставлениями.. Вот и выходит, что на склоне лет ты один, как перст, и спросить не на ком. Разве это не он юнцом ушел из отчего дома, не позабыл братьев и сестер ради того, чтобы не мешали ему день-деньской мять глину, прощупывать камень, приглаживаться к инструменту? Разве создания фантазии не заслонили от него живых ближних? И если пенять теперь на свою заброшенность, так только на себя самого. Мышцы с годами утратили округлость и упругость, и весь он теперь - как высохшая лоза, не очень-то нужный себе самому. Но те, кого так страстно он любил в своих мыслях, - они-то есть, их не расстреляли арбалетчики, не смыли речные воды, они стоят под высокими сводами, пережидая сумрак и источая свет воплощенной в них мечты.. О дети мои, дети мои! Не все вы удались мне поровну, но об этом знаем лишь мы с вами, - ибо страсть и нетерпение, и слабость человеческая мешают нам приблизиться к совершенству, увы. Но вы - вы живете и будете жить долго, вам назначено пережить мои кости,

вам суждено многое еще сказать тем, кто придет и остановится у ваших подножий...

Лежа на изношенном тряпье, он видит их во тьме - его пальцы непроизвольно шевелятся, ощущая знакомые прогибы и рваные выпуклости, складки одежд и слепые глазницы. И усталое тело распрямляется, из груди вырывается вздох удовлетворения. Расправляются сведенные напряжением черты. И вот когда является ему еще окутанная туманом, но видимая сквозь него статуя, он уж не надеялся дать ей жизнь. Она колеблется, то расплываясь, то вновь маня смутным свечением граней, - только протяну руку, сожму резец - и начнется та же маета, погоня без остановки, задыхание и темные волны отчаяния - то, что так бездумно зовут работой... Подержав милое видение под веками, он вскакивает и тяжело шагает между стен каморки, привычно натыкаясь на острые углы и не замечая этого. Все прежнее - неудача, снова и снова неудача, кто, кроме него, может понять эту горечь - вечную пропасть между видением и воплощением? Между дрожью вот-вот ухватить и послеродовым покоем? Покой отчаяния, покой примирения с ошибкой. Но теперь - теперь он, наконец, скажет все! И отрок, и старец - все услышат, увидят речь его сердца. Не смогут не постигнуть, так, наконец-то, будет это просто и открыто, бесстрашно и безоглядно. Удел человеческий - скорбь, и печаль, и ярость борения, и сладкие корчи познания. Огромен мир, нет ему пределов, и тьма сменяется светом дня, а пропасти уравнены недосягаемыми вершинами. Но смертному трудно охватить своими чувствами все разнообразие, смертному виден лишь его каждодневный урок, и с тем-то дай бог управиться дотемна! С первого крика младенца его свивают тугие свивальники, и их не снимают никогда. Туги твои путы, земная жизнь! Нет свободы членам, нет простора душе. Нагло насмехаясь в расшитом плаще шествует ложь, и пресмыкаются по ее следам предательство и донос, бессердечие и алчность. В хоромах благоденствуют насилие и произвол, беззаконие служит им, и мужество и справедливость запрятаны во узилище. И правда, и гений протягивают руку за подаянием, крохи со своего стола уделяет им неправедная власть... А попы, гладкие, на лицах

их - все пороки, попы жирными голосами уговаривают, что это от бога!

Жизнь его прошла, а времена меняются только к худшему и голодный крик с улицы переплетен с криводушными речами тиранов. Дети мои, - о дети мои! В ваших замкнутых устах - мои слова, что копились десятки лет. Тот изгнанник, поэт - верно говорят или нет, кто может знать? - побывал в аду, и адское пламя закоптило впалые щеки. Но он вышел оттуда! А сама жизнь на земле - разве не ад и разве не воздается - смертным адскими муками каждый свободный вздох, каждый отважный шаг? Пусть так. Но он, он сделает, он извлечет из неподатливой глубины сокрытые там истины, он совлечет каменные покровы и на этот раз - победит!

Оконная решетка - простая, без узоров - начинает проступать сквозь сумрак. Слабо засветилась зелень, грядки деревьев обозначились в глубине, которой не ощущалось в темноте. Ночь вытекает, как вода из треснувшего кувшина. Паола корит его за скупость. Ну да, не любит он выбрасывать привычные, обношенные вещи, грешен. А в треснутом кувшине вина не удержишь. Не удержишь время ничем - только постоянными, до пота и крови усилиями мысли и труда. Они думают, мысль - это ученость. Слепцы! Мысль ворочаешь с натугой, как возчик свои мешки, приседая от тяжести, до хруста костей, до кровавых кругов в глазах. В поте лица своего будешь добывать хлеб - сказано, и он свято выполнял завет. Сколько он пролил пота, а сколько съедено хлеба! Хлебом с его полей можно накормить всю Тоскану, и еще останется. Сам-то он довольствовался кружкой дрянного пойла да лепешкой, и ученики писали на глухой стене: сквалыга. Он привык. От обжор ничего не останется, кроме назема. Не зря он обуздывал себя так, - словно дал обет. А он и впрямь его дал, только не монастырскому настоятелю разрешить его от этого обета, да и самому богу это уже не под силу. Теперь уж нет!

Теперь, с вершины, на которую он всю жизнь карабкался, все видней, видней и то, что трое их было. Настоящих. Самый старший - изысканный, обласканный красавец, тихий голос, шелковые речи. Юнец - его полотна так и излучают кротость и благостыню. А он - он единственный из них ваятель. Гневный,

безрассудный, нетерпеливец, дававший волю ярости. Но каков бы ни был, он – среди них. Там его место, на вершине. Юноша – о, он успел так много. Его поклонникам есть над чем позахать, разевая свои глупые рты. Бесконечно далек он, божественно спокойный, идеально уравновешенный, и – побеждающий всегда! Словно колдовская сила ему помогала!

Про того, сладкоречивого бородача, так и говорили, что не без нечистой силы обошлось, да и красавицы на его полотнах – скорее от смуты и клубящегося тумана их чары, нежели от утренней ясности. Чего не наскажут! О себе ведь не знаешь всех толков. Да и улеглось уже все это, как предрассветная заволочь. И просто и ясно открылось взору: трое их, трое – во славу Ломбардии, Флоренции и Милана. Трое. И из чего все эти десятилетия он баюкал в сердце вражду к тем двум? Что вино? Забыл. Ушло. Да и по совести сказать, все это было накипью, сором. Он один им вровень, он один должен нести правдивую память о них.

Со стоном он присаживается на краю ложа. Ах, на старости можно бы позаботиться о себе получше! Любой крестьянин посовестился бы спать на этих досках. Может, и не зря точит его старая Паола. Медленно, с трудом закидывает он ноги, ложится на спину, вытягивается. Спал он нынче или вовсе не вздремнул? Не жалей он денег на масло, светильник сказал бы ему это. Или свеча, как у синьоры Виттории... Но шесть свеч – это уж непристойная роскошь, да, непристойная, он не может себе позволить такое! А все ж таки в их желтом свете как было молодо ее тихое лицо.. Он закрывает глаза, смежает веки, улыбка раздвигает губы. Под воспаленными веками образы бегут, нагоняют друг друга, тают и сплываются, как облака на весеннем небе. И он спешит за ними, и вот уже спина не чувствует жесткости дерева, руки, сложенные на груди, размыкаются: заснул. И улыбка забыта на лице.

Окончательно рассвело, издали доносится петуший крик, и старая служанка приоткрывает дверь и встает на пороге. Стоит, потом набрасывает на хозяина плащ.

ооооооооо